

Константин Арсеньев

**Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин**



Константин Константинович Арсеньев

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

«Салтыков (Михаил Евграфович) – знаменитый русский писатель. Родился 15 января 1826 г. в старой дворянской семье, в имении родителей, селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии. Хотя в примечании к «Пошехонской старине» С. и просил не смешивать его с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но полнейшее сходство многого, сообщаемого о Затрапезном, с несомненными фактами жизни С. позволяет предполагать, что «Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер...»

Содержание

Константин Константинович Арсеньев Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин	0004
#2	0038

Константин Константинович Арсеньев Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Салтыков (Михаил Евграфович) – знаменитый русский писатель. Родился 15 января 1826 г. в старой дворянской семье, в имении родителей, селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии. Хотя в примечании к «Пошехонской старине» С. и просил не смешивать его с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но полнейшее сходство многого, сообщаемого о Затрапезном, с несомненными фактами жизни С. позволяет предполагать, что «Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер. Первым учителем С. был крепостной человек его родителей, живописец Павел; потом с ним занимались старшая его сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент московской духовной академии. Десяти лет от роду он поступил в московский дворянский институт (нечто в роде гимназии,

с пансионом), а два года спустя был переведен, как один из отличнейших учеников, казеннокоштным воспитанником в Царскосельский (позже – Александровский) лицей. В 1844 г. окончил курс по второму разряду (т. е. с чином X-го класса), семнадцатым из двадцати двух учеников, потому что поведение его аттестовалось не более как «довольно хорошим»: к обычным школьным проступкам («грубость», куренье, небрежность в одежде) у него присоединялось писание стихов «неодобрительного» содержания. В лицее, под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий, каждый курс имел своего поэта; в XIII-м курсе эту роль играл С. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для Чтения» 1841 и 1842 гг., когда он был еще лицеистом; другие, напечатанные в «Современнике» (ред. Плетнева) 1844 и 1845 гг., написаны им также еще в лицее (все эти стихотворения перепечатаны в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова», приложенных к полному собранию его сочинений). Ни одно из стихотворений С. (отчасти переводных, отчасти оригинальных) не носит на себе следов та-

ланта; позднейшие по времени даже уступают более ранним. С. скоро понял что у него нет призваны к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. И в этих ученических упражнениях, однако, чувствуется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое (у тогдашних знакомых С. слыл под именем «мрачного лицеиста»). В августе 1844 г. С. был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через два года получил там первое штатное место – помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, увлекаясь в особенности Ж. Зандом и французскими социалистами (блестящая картина этого увлечения нарисована им, тридцать лет спустя, в четвертой главе сборника: «За рубежом»), но и писал – сначала небольшие библиографические заметки (в «Отечественных Записках» 1847 г.), а потом повести: «Противоречия» (там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848). Уже в библиографических заметках, не смотря на маловажность книг, по поводу которых они написаны, прогляды-

вает образ мыслей автора-его отвращение к рутине, к прописной морали, к крепостному праву; местами попадаются и блестящие насмешливого юмора. В первой повести С., которую он никогда впоследствии не перепечатывал, звучит, сдавленно и глухо, та самая тема, на которую были написаны ранние романы Ж. Занда: признание прав жизни и страсти. Герой повести, Нагибин – человек обессиленный тепличным воспитанием и беззащитный против влияний среды, против «мелочей жизни». Страх перед этими мелочами и тогда, и позже (см. напр. «Дорога», в «Губернских Очерках») был знаком, по-видимому, и самому С. – но у него это был тот страх, который служит источником борьбы, а не уныния. В Нагибине отразился, таким образом, только один небольшой уголок внутренней жизни автора. Другое действующее лицо романа-«женщина-кулак», Крошина – напоминает Анну Павловну Затрапезную из «Пошехонской старины», т. е. навеяно, вероятно, семейными воспоминаниями С. Гораздо крупнее «Запутанное дело» (перепеч. в «Невинных рассказах»), написанное под сильным влия-

нием «Шинели», может быть и «Бедных людей», но заключающее в себе несколько замечательных страниц (напр. изображение пирамиды из человеческий тел, которая снится Мичулину). «Россия» – так размышляет герой повести – «государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». «Жизнь-лотерея», подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом; «оно так – отвечает какой-то недоброжелательный голос, – но почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью»? Несколькими месяцами раньше такие рассуждения остались бы, может быть, незамеченными-но «Запутанное дело»\') появилось в свет как раз тогда, когда февральская революция во Франции отразилась в России учреждением негласного комитета, облеченного особыми полномочиями для обуздания печати. 28-го апреля, 1848 г. С. был выслан в Вятку и 3-го июля определен канцелярским чиновником при вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при вятском губернаторе, за-

тем два раза исправлял должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 г. был советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной, после смерти С., в его бумагах и подробно изложенной в «Материалах» для его биографии он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему возможность быть ей полезным. Провинциальную жизнь, в самых темных ее сторонах, в то время легко ускользавших от взора, С. узнал как нельзя лучше, благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались – и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Губернских Очерках». Тяжелую скуку умственного одиночества он разгонял внеслужебными занятиями: сохранились отрывки его переводов из Токвиля, Вивьена, Шерюеля и заметки, написанные им по поводу известной книги Беккарии. Для сестер Болтиных, из которых одна в 1856 г. стала его женою, он со-

ставил «Краткую историю России». В ноябре 1855 г. ему разрешено было, наконец, совершенно оставить Вятку (откуда он до тех пор только один раз выезжал к себе в тверскую деревню); в феврале 1856 г. он был причислен к министерству внутренних дел, в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре и в августе командирован в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских комитетов ополчения (созванного, по случаю восточной войны, в 1855 г.). В его бумагах нашелся черновик записки, составленной им при исполнении этого поручения. Она удостоверяет, что так называемые дворянские губернии предстали перед С. не в лучшем виде, чем недворянская, Вятская; злоупотреблений при снаряжении ополчения им было обнаружено множество. Несколько позже им была составлена записка об устройстве градских и земских полиций, проникнутая мало еще распространенной тогда идеей децентрализации и весьма смело подчеркивавшая недостатки действовавших порядков. Вслед за возвращением С. из ссылки, возобновилась, с большим

блеском, его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в «Русском Вестнике», с 1856 г., «Губернские Очерки», сразу сделалось одним из самых любимых и популярных. Собранные в одно целое, «Губернские Очерки» в 1857 г. выдержали два издания (впоследствии – еще два, в 1864 и 1882 гг.). Они положили начало целой литературе, получившей название «обличительной», но сами принадлежали к ней только отчасти. Внешняя сторона мира кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений наполняет всецело лишь некоторые из очерков; на первый план выдвигается психология чиновничьего быта, выступают такие крупные фигуры, как Порфирий Петрович, как «озорник», первообраз «помпадуров», или «надорванный», первообраз «ташкентцев», как Перегоренский, с неукротимым ябедничеством которого должно считаться даже административное полномочие. Юмор, как и у Гоголя, чередуется в «Губернских Очерках» с лиризмом; такие страницы, как обращение к провинции (в «Скуке»), производят до сих пор глубокое впечатление.

чатление. Чем были «Губернские Очерки» для русского общества, только что пробудившегося к новой жизни и с радостным удивлением следившего за первыми проблесками свободного слова – это легко себе представить. Обстоятельствами тогдашнего времени объясняется и то, что автор «Губернских Очерков» мог не только оставаться на службе, но и получать более ответственные должности. В марте 1858 г. С. был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 г. переведен на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много, сначала в разных журналах (кроме «Русского Вестника» – в «Атенее», «Современнике», «Библиотеке для Чтения», «Московском Вестнике»), но с 1860 г. – почти исключительно в «Современнике» (В 1861 г. С. поместил несколько небольших статей в «Московских Ведомостях» (ред. В. Ф. Корша), в 1882 г. – несколько сцен и рассказов в журнале «Время»). Из написанного им между 1858 и 1862 гг. составились два сборника-«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; и тот, и другой изданы отдельно три раза (1863, 1881, 1885). В картинах провинциальной жизни, которые С.

теперь рисует, Крутогорск (т. е. Вятка) скоро уступает Глупову, представляющему собою не какой-нибудь определенный, а типичный русский город – тот город, «историю» которого, понимаемого в еще более широком смысле, несколькими годами позже написал С. Мы видим здесь как последние вспышки отживающего крепостного строя («Госпожа Падейкова», «Наш дружеский хлам», «Наш губернский день»), так и очерки так называемого «возрождения», в Глупове не идущего дальше попыток сохранить, в новых формах, старое содержание. Староглуповец «представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратителен; новоглуповец продолжает быть отвратительным – и в тоже время утратил способность быть милым» («Наши глуповские дела»). В настоящем и будущем Глупова усматривается один «конфуз»: «идти вперед – трудно, идти назад – невозможно». Только в самом конце этюдов о Глупове проглядывает нечто похожее на луч надежды: С. выражает уверенность, что «новоглуповец будет последним из глуповцев». В феврале 1862 г. С. в первый раз вышел в отставку. Он

хотел поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; когда ему это не удалось, он переехал в Петербург и с начала 1863 г. стал, фактически, одним из редакторов «Современника». В продолжении двух лет он помещает в нем беллетристические произведения, общественные и театральные хроники, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки, публицистические статьи. Все это, за исключением немногих сцен и рассказов, вошедших в состав отдельных изданий («Невинные рассказы», «Признаки времени», «Помпадур и Помпадурши»), остается до сих пор не перепечатанным, хотя включает в себе много интересного и важного (Обзор содержания статей, помещенных С. в «Современнике» 1863 и 1864 гг., см. в книг А. Н. Пыпина: «М. Е. Салтыков» (СПб., 1879). Есть основание надеяться, что эти статьи-или большая их часть – войдут в состав следующего издания сочинений С.). К этому же, приблизительно, времени относятся замечания С. на проект устава о книгопечатании, составленный комиссией под председательством кн. Д. А. Оболенского (см. «Мате-

риалы для биографии М. Е. Салтыкова»). Главный недостаток проекта С. видит в том, что он ограничивается заменой одной формы произвола, беспорядочной и хаотической, другой, систематизированной и формально узаконенной. Весьма вероятно, что стеснения, которые «Современник» на каждом шагу встречал со стороны цензуры, в связи с отсутствием надежды на скорую перемену к лучшему, побудили С. опять вступить на службу, но по другому ведомству, менее прикосновенному к злобе дня. В ноябре 1864 г. он был назначен управляющим пензенской казенной палатой, два года спустя переведен на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 г. – в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: в продолжение трех лет (1865, 1866, 1867) в печати появилась только одна его статья «Завещание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепеч. в «Признаках времени»). Тяга его к литературе оставалась, однако, прежняя: как только «Отечественные Записки» перешли (с 1 января 1868 г.) под редакцию Некрасова, С. сделался одним из самых усердных их сотрудников,

а в июне 1868 г. окончательно покинул службу и сделался одним из главных сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти Некрасова. Пока существовали «Отечественный Записки», т. е. до 1884 г., С. работал исключительно для них. Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сборников: «Признаки времени» и «Письма из провинции» (1870, 72, 85), «Истории одного города» (1 и 2 изд. 1870; 3 изд. 1883), «Помпадурсы и Помпадурши» (1873, 77, 82, 86), «Господа Ташкентцы» (1873, 81, 85), «Дневник провинциала в Петербурге» (1873, 81, 85), «Благонамеренные речи» (1876, 83), «В среде умеренности и аккуратности» (1878, 81, 85), «Господа Головлевы» (1880, 83), «Сборник» (1881, 83), «Убежище Монрепо» (1882, 83), «Круглый год» (1880, 83), «За рубежом» (1881), «Письма к тетеньке» (1882), «Современная Идиллия» (1885), «Недоконченные беседы» (1885), «Пошехонские рассказы» (1886). Сверх того в «Отечественных Записках» были напечатаны в 1876 г. «Культурные люди» и «Итоги», при жизни С. не перепеча-

таные ни в одном из его сборников, но включенные в посмертное издание его сочинений. «Сказки», изданные особо в 1887 г., появлялись первоначально в «Отечествен. Записках», «Неделе», «Русских Ведомостях» и «Сборнике литературного фонда». После запрещения «Отечественных Записок» С. помещал свои произведения преимущественно в «Вестнике Европы»; отдельно «Пестрые письма» и «Мелочи жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская Старина»-ужо после его смерти, в 1890 г. Здоровье С., расшатанное еще с половины 70-х годов, было глубоко потрясено запрещением «Отечественных Записок». Впечатление, произведенное на него этим событием, изображено им самим с большою силой в одной из сказок («Приключение с Крамольниковым», который «однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет») и в первом «Пестром письме», начинающемся словами: «несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка»... Редакционной работой С. занимался неумоимо и страстно, живо принимая

к сердцу все касающееся журнала. Окруженный людьми ему симпатичными и с ним солидарными, С. чувствовал себя, благодаря «Отечественным Запискам», в постоянном общении с читателями, на постоянной, если можно так выразиться, службе у литературы, которую он так горячо любил и которой посвятил, в «Круглом годе», такой чудный хвалебный гимн (письмо С. к сыну, написанное незадолго до смерти, оканчивается словами: «паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому»). Незаменимой утратой был для него, поэтому, разрыв непосредственной связи между ним и публикой. С. знал, что «читатель-друг» по-прежнему существует – но этот читатель «заробел, затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». Мысль об одиночестве, «оброшенности» удручает его все больше и больше, обостряемая физическими страданиями и в свою очередь обостряющая их. «Болен я» – восклицает он в первой главе «Мелочей жизни» – невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Изможденное тело ничего

не может ему противопоставить. Последние его годы были медленной агонией, но он не переставал писать, пока мог держать перо, и его творчество оставалось до конца сильным и свободным; «Пошехонская Старина» ни в чем не уступает его лучшим произведениям. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно составить себе понятие уже по его заглавию: «Забытые слова» («Были, знаете, слова» – сказал Салтыков Н. К. Михайловскому незадолго до смерти – «ну, совесть, отечество, человечество, другие там еще... А теперь потрудитесь-ка из поискать!.. Надо же напомнить!»...). Он умер 28 апреля 1889 г. и погребен 2 мая, согласно его желанию, на Волковом кладбище, рядом с Тургеневым.

Двадцать лет сряду все крупные явления русской общественной жизни встречали отголосок в сатире С., иногда предугадывавшей их еще в зародыше. Это – своего рода исторический документ, доходящий местами до полного сочетания реальной и художественной правды. Занимает свой пост С. в то время, когда завершился главный цикл «великих ре-

форм» и, говоря словами Некрасова, «рано-временные меры» (рановременные, конечно, только с точки зрения их противников) «теряли должные размеры и с треском пятились назад». Осуществление реформ, за одним лишь исключением, попало в руки людей, им враждебных. В обществе все резче заявляли себя обычные результаты реакции и застоя: мельчали учреждения, мельчали люди, усиливался дух хищения и наживы, всплывало наверх все легковесное и пустое. При таких условиях для писателя с дарованием С. трудно было воздержаться от сатиры. Орудием борьбы становится, в его руках, даже экскурсия в прошедшее: составляя «историю одного города», он имеет в виду – как видно из письма его к А. Н. Пыпину, опубликованного в 1889 г., – исключительно настоящее. «историческая форма рассказа» – говорит он, – «была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни... Критик должен сам угадать и другим внушить, что Парамоша – совсем не Магницкий только, но вместе с тем и NN. И даже не NN., а все вообще люди известной партии, и

ныне не утратившей своей силы». И действительно, Бородавкин («история одного города»), пишущий втихомолку «устав о нестеснении градоначальников законами», и помещик Поскудников («Дневник провинциала в Петербурге»), «признающий не бесполезным подвергнуть расстрелянию всех несогласно мыслящих» – это одного поля ягоды; бичующая их сатира преследует одну и ту же цель, все равно, идет ли речь о прошедшем или о настоящем. Все написанное С. в первой половине семидесятых годов дает отпор, главным образом, отчаянным усилиям побежденных – побежденных реформами предыдущего десятилетия – опять завоевать потерянные позиции или вознаградить себя, так или иначе, за понесенные утраты. В «Письмах о провинции» историографы – т. е. те, которые издавна делали русскую историю – ведут борьбу с новыми сочинителями, в «Дневнике провинциала» сыплются, как из рога изобилия, прожекты, выдвигающие на первый план «благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев»; в «Помпадурах и Помпадуршах» крепкоголовые «экзаменуют» миро-

вых посредников, признаваемых отщепенцами дворянского лагеря. В «Господах Ташкентцах» мы знакомимся с «просветителями, свободными от наук», и узнаем, что «Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». «Помпадурсы» – это руководители, прошедшие курс административных наук у Бореля или у Донона; «Ташкентцы» – это исполнители помпадурских приказаний. Не щадит С. и новые учреждения – земство, суд, адвокатуру, – не щадит их именно потому, что требует от них многого и возмущается каждой уступкой, сделанной ими «мелочам жизни». Отсюда и строгость его к некоторым органам печати, занимавшимся, по его выражению, «пенкоснимательством». В пылу борьбы С. мог быть несправедливым к отдельным лицам, корпорациям и учреждениям, но только потому, что перед ним всегда носилось высокое представление о задачах эпохи. Литература, например, может быть названа солью русской жизни: что будет – думал С., – если соль перестанет быть соленою, если к ограничениям,

независящим от литературы, она прибавит еще. добровольное самоограничение?..

С усложнением русской жизни, с появлением новых общественных сил и видоизменением старых, с умножением опасностей, грозящих мирному развитию народа, расширяются и рамки творчества Салтыкова. Ко второй половине семидесятых годов относится создание им таких типов, как Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев. В их лице хищничество, с небывалою до тех пор смелостью, предъявляет свои права на роль «столпа», т. е. опоры общества – и эти права признаются за ним с разных сторон, как нечто должное (припомним станowego пристава Грацияпова и собирателя «материалов» в «Убежище Монрепо»). Мы видим победоносный поход «чумазого» на «дворянские усыпальницы», слышим допеваемые «дворянские мелодии», присутствуем при гонении против Анпетовых и Парначевых, заподозренных в «пущании революции промежду себя». Еще печальнее картины, представляемые разлагающеюся семьею, непримиримым разладом между «отцами» и «детьми» – между кузиной Машень-

кой и «непочтительным Коронатом» между Молчалиным и его Павлом Алексеевичем, между Разумовым и его Степой. «Больное место» (напеч. в «Отеч. Зап». 1879 г., переп. в «Сборнике»), в котором этот разлад изображен с потрясающим драматизмом – один из кульминационных пунктов дарования С. «Хандрящим людям», уставшим надеяться и изнывающим в своих углах, противопоставляются «люди торжествующей современности», консерваторы в образе либерала (Тебеньков) и консерваторы с национальным оттенком (Плешивцев), узкие государственники, стремящиеся, в сущности, к совершенно аналогичным результатам, хотя и отправляющиеся один – «с Офицерской в столичном городе Петербурге, другой – с Плющихи в столичном городе Москве». С особенным негодованием обрушивается сатирик на «литературные клоповники», избравшие девизом: «мыслить не полагается», целью – порабощение народа, средством для достижения цели – оклеветание противников. «Торжествующая свинья», выведенная на сцену в одной из последних глав: «За рубежом», не только допра-

шивает «правду», но и издевается над нею, «сыскивает ее своими средствами» гложет ее с громким чавканьем, публично, нимало не стесняясь. В литературу, с другой стороны, вторгается улица, «с ее бессвязным галде-ньем, изменною несложностью требований, дикостью идеалов» – улица, служащая главным очагом «шкурных инстинктов». Несколько позже наступает пора «лганья» и тесно связанных с ним «извещений». «Властителем дум» является «негодяй, порожденный нравственной и умственной мутью, воспитанный и окрыленный шкурным малодушием». Иногда (напр. в одном из «Писем к тетеньке») С. надеется на будущее, выражая уверенность, что русское общество «не поддастся наплыву низкопробного озлобления на все выходящее за пределы хлевной атмосферы»; иногда им овладевает уныние, при мысли о тех «изолированных призывах стыда, которые прорывались среди масс бесстыжества – и канули в вечность» (конец «Современной Идиллии»). Он вооружается против новой программы: «прочь фразы, пора за дело взяться», справедливо находя, что и она-только фраза, и, в до-

бавок, «истлевшая под наслоениями пыли и плесени» («Пошехонские рассказы»). Удручаемый «мелочами жизни», он видит в увеличивающемся их господстве опасность тем более грозную, чем больше растут крупные вопросы: «забываемые, пренебрегаемые, заглушаемые шумом и треском будничной суеты, они напрасно стучатся в дверь, которая не может, однако, вечно оставаться для них закрытой». – Наблюдая, со своей сторожевой башни, изменчивые картины настоящего, С. никогда не переставал, вместе с тем, глядеть в неясную даль будущего. Сказочный элемент, своеобразный, мало похожий на то, что обыкновенно понимается под этим именем, никогда не был совершенно чужд произведениям С.: в изображения реальной жизни у него часто врывалось то, что он сам называл волшебством. Это – одна из тех форм, которые принимала сильно звучащая в нем поэтическая жилка. В его сказках, наоборот, большую роль играет действительность, не мешая лучшим из них быть настоящими «стихотворениями в прозе». Таковы «Премудрый пискарь», «Бедный волк», «Карась-идеалист», «Баран непом-

нящий» и в особенности «Коняга». Идея и образ сливаются здесь в одно нераздельное целое: сильнейший эффект достигается самыми простыми средствами. Немного найдется в нашей литературе таких картин русской природы и русской жизни, какие раскинуты в «Коняге». После Некрасова ни у кого не слышалось таких стонов душевной муки, вырывааемых зрелищем нескончаемого труда над нескончаемой задачей. Великим художником является С. и в «Господах Головлевых». Члены Головлевской семьи, этого уродливого продукта крепостной эпохи – но сумасшедшие в полном смысле слова, но поврежденные совокупным действием физиологических и общественных устоев. Внутренняя жизнь этих несчастных, исковерканных людей изображена с такой рельефностью, какой редко достигают и наша, и западноевропейская литература. Это особенно заметно при сравнении картин аналогичных по сюжету – напр. картин пьянства у С. (Степан Головлев) и у Золя (Купо, в «Assommoir»). Последняя написана наблюдателем-протоколистом, первая-психологом-художником. У С. нет ни клинических

терминов, ни стенографически записанного бреда, ни подробно воспроизведенных галлюцинаций; но с помощью нескольких лучей света, брошенных в глубокую тьму, перед нами восстает последняя, отчаянная вспышка бесплодно погибшей жизни. В пьянице, почти дошедшем до животного отупения, мы узнаем человека. Еще ярче обрисована Арина Петровна Головлева – и в этой черствой, скаредной старухи С. также нашел человеческие черты, внушающие сострадание. Он открывает их даже в самом «Иудушке» (Порфирии Головлеве) – этом «лицемере чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях». Никого не любя, ничего не уважая, заменяя отсутствующее содержание жизни массой мелочей, Иудушка мог быть спокоен и по своему счастлив, пока вокруг него, не прерываясь ни на минуту, шла придуманная им самим суматоха. Внезапная ее остановка должна была разбудить его от сна на яву, подобно тому, как присыпается мельник, когда перестают двигаться мельничные колеса. Однажды очнув-

шись, Порфирий Головлев должен был почувствовать страшную пустоту, должен был услышать голоса, заглушавшиеся до тех пор шумом искусственного водоворота. Совесть есть и у Иудушек; по выражению С., она может быть только «загнана и позабыта», может только устранить, до поры до времени, «ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании». В изображении кризиса, переживаемого Иудушкой и ведущего его к смерти, нет, поэтому ни одной фальшивой ноты, и вся фигура Иудушки принадлежит к числу самых крупных созданий С. Рядом с «Господами Головлевыми» должна быть поставлена «Пошехонская Старина»-удивительно яркая картина тех основ, на которых держался общественный строй крепостной России. С. не примирен с прошедшим, но и не озлоблен против него; он одинаково избегает и розовой, и безусловно-черной краски. Ничего не скрашивая и не скрывая, он ничего не извращает – и впечатление получается тем более сильное, чем живее чувствуется близость к истине. Если на всем и на всех лежит печать чего-то удручаю-

щего, принижающего и властителей, и подвластных, то ведь именно такова и была деревенская дореформенная Россия. Может быть, где-нибудь и разыгрывались идиллии вроде той, которую мы видим в «Сне» Обломова; но на одну Обломовку сколько приходилось Машиновцев и Овсцовых, изображенных Салтыковым? Подрывая раз навсегда возможность идеализации и крепостного быта, «Пошехонская Старина» дает, вместе с тем, целую галерею портретов, нарисованных рукою истинного художника. Особенно разнообразны типы, взятые С. из крепостной массы. Смирение, например, по необходимости было тогда качеством весьма распространенным; но пассивное, тупое смирение Конона не походит ни на мечтательное смирение Сатира-скитальца, стоящего на рубеже между юродивым и раскольником-протестантом, ни на воинственное смирение Аннушки, мирящейся с рабством, но отнюдь не с рабовладельцами. Избавление и Сатир, и Аннушка видят только в смерти – и это значение она имела тогда для миллионов людей. «Пускай вериги рабства» – восклицает С., изображая простую, теплую ве-

ру простого человека, – «с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело – он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда правда осияет его, наравне с другими алчущими и жаждущими. Да! колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма». Смерть, освободившая его предков, «придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и, свободному, даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, на встречу свободным отцам!» Не менее поразительна та страница «Пошехонской Старины», где Никанор Затрапезный, устами которого на этот ре несомненно говорит сам С., описывает действие, произведенное на него чтением Евангелия. «Униженные и оскорбленные встали передо мной осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков». В «поруганном образе раба» С. признал образ человека. Протест против «крепостных цепей», воспитанный впечатлениями детства, с течением времени обратился у С., как и у Некрасова, в протест против всяких «иных»

цепей, «придуманых взамен крепостных»; заступничество за раба перешло в заступничество за человека и гражданина. Негодуя против «улицы» и «толпы», С. никогда не отождествлял их с народной массой и всегда стоял на стороне «человека питающегося любовью» и «мальчика без штанов». Основываясь на нескольких вкрявь и вкось истолкованных отрывках на разных сочинениях С., его враги старались приписать ему высокомерное, презрительное отношение к народу, «Пошехонская Старина» уничтожила возможность подобных обвинений.

Немного, вообще, найдется писателей, которых ненавидели бы так сильно и так упорно, как Салтыкова. Эта ненависть пережила его самого; ею проникнуты даже некрологи, посвященные ему в некоторых органах печати. Союзником злобы являлось непонимание. Салтыкова называли «сказочником», его произведения – фантазиями, вырождающимися порою в «чудесный фарс» и не имеющими ничего общего с действительностью. Его низводили на степень фельетониста, забавника, карикатуриста, видели в его сатире «некоторого

рода ноздревщину и хлестаковщину, с большою прибавкою Собакевича». С. как-то назвал свою манеру писать «рабьей», это слово было подхвачено его противниками – и они уверяли, что благодаря «рабьему языку» сатирик мог болтать сколько угодно и о чем угодно, возбуждая не негодование, а смех, потешая даже тех, против кого направлены его удары. Идеалов, положительных стремлений у С. по мнению его противников, не было: он занимался только «оплеванием», «перетасовывая и пережевывая» небольшое количество всем наскучивших тем. В основании подобных взглядов лежит, в лучшем случае, ряд явных недоразумений. Элемент фантастичности, часто встречающийся у С., нисколько не уничтожает реальности его сатиры. Сквозь преувеличения ясно виднеется правда – да и самые преувеличения оказываются иногда ничем другим, как предугадыванием будущего. Многие из того, о чем мечтают, например, прожектеры в «Дневнике Провинциала», несколько лет спустя перешло в действительность. Между тысячами страниц, написанных С., есть, конечно, и такие, к которым приме-

нимо название фельетона или карикатуры – но по небольшой и сравнительно неважной части нельзя судить о громадном целом. Встречаются у Салтыкова и резкие, грубые, даже бранные выражения, иногда, быть может, бьющие через край; но вежливости и сдержанности нельзя и требовать от сатиры. В. Гюго не перестал быть поэтом, когда сравнил своего врага с поросенком, щеголяющим в львиной шкуре; Ювенал читается в школах, хотя у него есть неудобопереводимые стихи. Обвинению в цинизме подвергались, в свое время, Вольтер, Гейне, Барбье, П. Л. Курье, Бальзак; понятно, что оно взводилось и на С. Весьма возможно, что при чтении С. смеялись, порою, «помпадуры» или «ташкентцы»; но почему? Потому что многие из читателей этой категории отлично умеют «кивать на Петра», а другие видят только смешную оболочку рассказа, не вникая в его внутренний смысл. Слова С. о «рабьем языке» не следует понимать буквально. Бесспорно, его манера носит на себе следы условий, при которых он писал: у него много вынужденных недомолвок, полуслов, иносказаний – но еще больше

можно насчитать случаев, в которых его речь льется громко и свободно или, даже сдержанная, напоминает собою театральный шепот, понятный всем постоянным посетителям театра. Рабий язык, говоря собственными словами С., «нимало не затемняют его намерений»; они совершенно ясны для всякого, кто желает понять их. Его темы бесконечно разнообразны, расширяясь и обновляясь сообразно с требованиями времени. Есть у него, конечно, и повторения, зависящая отчасти от того, что он писал для журналов; но они оправдываются, большею частью, важностью вопросов, к которым он возвращался. Соединительным звеном всех его сочинений служит стремление к идеалу, который он сам (в «Мелочах жизни») резюмирует тремя словами: «свобода, развитие, справедливость». Под концом жизни эта формула кажется ему не достаточною. «Что такое свобода», говорит он, «без участия в благах жизни? Что такое развитие, без ясно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви»? На самом деле любовь никогда не была чужда С.: он всегда про-

поведовал ее «враждебным словом отрицания». Беспощадно преследуя зло, он внушает снисходительность к людям, в которых оно находит выражение часто помимо их сознания и воли. Он протестует, в «Больном месте», против жестокого девиза: «со всем порвать». Речь о судьбе русской крестьянской женщины, вложенная им в уста сельского учителя («Сон в летнюю ночь», в «Сборнике»), может быть поставлена, по глубине лиризма, наряду с лучшими страницами некрасовской поэмы: «Кому на Руси жить хорошо». «Кто видит слезы крестьянки? Кто слышит, как они льются капля по капле? Их видит и слышит только русский крестьянский малютка, но в нем они оживляют нравственное чувство и полагают в его сердце первые семена добра». Эта мысль, очевидно, давно овладела С. В одной из самых ранних и самых лучших его сказок («Пропала совесть») совесть, которою все тяготятся и от которой все стараются отделаться, говорит своему последнему владельцу: «отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповин-

ный младенец, приютит и выходит, авось он меня в меру возраста своего произведет да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается... По этому ее слову так и сделалось. Отыскал мещанишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». Эти слова, полные не только любви, но и надежды – завет, оставленный С. русскому народу.

В высокой степени своеобразны слог и язык С. Каждое выводимое им лицо говорит именно так, как подобает его характеру и положению. Слова Дерунова, например, дышат самоуверенностью и важностью, сознанием силы, не привыкшей встречать ни противодействия, ни даже возражений. Его речь — смесь идейных фраз, почерпнутых из церковного обихода, отголосков прежней почтительности перед господами и нестерпимо резких нот доморощенной политико-экономической доктрины. Язык Разуваева относится к языку Дерунова, как первые каллиграфические упражнения школьника к прописям учителя. В словах Фединьки Неугодова можно различить и канцелярский формализм высшего полета, и что-то салонное, и что-то Оффенбаховское. Когда С. говорит от собственного своего лица, оригинальность его манеры чувствуется в расстановке и сочетании слов, в неожиданных сближениях, в быстрых переходах из одного тона в другой. Замечательно умение Салтыкова приискать подходящую кличку для типа, для общественной группы, для образа действий («Столп», «Кандидат в столпы»,

«внутренние Ташкентцы», «Ташкентцы приготовительного класса», «Убежище Монрепо», «ожидание поступков» и т. п.). Мало таких нот, мало таких красок, которых нельзя было бы найти у С. Сверкающий юмор, которым полна удивительная беседа мальчика в штанах с мальчиком без штанов, так же свеж и оригинален, как и задушевный лиризм, которым проникнуты последние страницы «Господ Головлевых» и «Больного места». Описаний у С. немного, но и между ними попадаются такие перлы, как картина деревенской осени в «Господах Головлевых» или засыпающего уездного городка в «Благонамеренных речах».